



Всеволод
КРЕСТОВСКИЙ
◆
ВНЕ
ЗАКОНА
◆



Всеволод Владимирович Крестовский

Вне закона

Серия «Преступление / Наказание»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74135076

*Вне закона. роман: Азбука, Издательство АЗБУКА; СПб; 2026
ISBN 978-5-389-33960-6*

Аннотация

Роман «Вне закона» Всеволод Крестовский написал в 1873 году. По закрученному сюжету и накалу страстей он не уступает его знаменитым «Петербургским трущобам» и в свое время наделал немало шума, во многом благодаря парадоксальному утверждению автора: «Наказание за преступление – вне компетенции закона».

Притом что Всеволод Крестовский плотно сотрудничал с сыскной полицией, проникал в притоны, участвовал в облавах и обысках, присутствовал при арестах и на допросах, работал в судебных архивах – то есть всячески способствовал торжеству закона, – он был убежден, что суд над преступником вершится гораздо выше. И в своем романе, решая проблему «преступления и наказания», автор позволяет злодеям избежать судебной кары, но приводит их к неизбежному нравственному краху.

В центре действия романа – Платон Вельтищев, игрок и модник, прожигающий жизнь. Полная противоположность

своему кузену, деловитому и серьезному Максиму Вельтищеву, женатому на красавице Ирине, за которой волочится Платон. И когда Максим, устав сводить концы с концами в семейных финансах, предлагает разделить бухгалтерию, Платон понимает, что его беспечной жизни приходит конец – этак ведь вскроются все его растраты! Он решается на преступление. И благодаря ловкому адвокату выходит из зала суда свободным человеком.

Однако это только начало. Вслед за тем клубок зла начинает закручиваться все туже – подлость, измена, интриги, шантаж, коварство, ложь, месть. Наказание за преступление неизбежно грядет, и хорошо бы успеть раскаяться, но позволит ли это высший закон?

Содержание

Часть первая	7
I. «Барин спит – не тревожьте!»	7
II. Кто этот соглядатай?	22
III. Жаба	27
IV. Что такое в спрятанном мешке?	38
V. М-ме Коробова доходит до правды	44
VI. Вор у вора дубинку украл	49
VII. Нежная маменька	52
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Всеволод Владимирович Крестовский Вне закона

© Оформление

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

**ПРЕСТУПЛЕНИЕ
НАКАЗАНИЕ**

Всеволод
КРЕСТОВСКИЙ



ВНЕ
ЗАКОНА



Санкт-Петербург

Часть первая

I. «Барин спит – не тревожьте!»

Ирина Борисовна из столовой прошла в свои комнаты, а оба кузена направились в кабинет. Уходя, она мельком кинула многозначительный взгляд в лицо того, который не был ее мужем, и этот взгляд, казалось, спрашивал: «Неужели это и в самом деле будет?»

Глаза их встретились.

Платон Васильевич Вельтищев ответил на него беглой мимолетной улыбкой из-за спины своего двоюродного брата, и эта улыбка ясно сказала: «Будьте покойны... ступайте...»

И они разошлись.

* * *

– Так вот, видишь ли, голубчик Платоша, – говорил Максим Григорьевич Вельтищев, положив руку на плечо брата и входя с ним в свой деловой комфортабельный кабинет, – теперь мы с тобою сквитались. Я очень рад! Но... говоря по правде, эти двести пятьдесят тысяч шибко хлопнули меня по карману... Ты знаешь, что из Славногорского прииска я ведь

выделил Картонаки да Пупыреву восемьдесят две тысячи.

– Но ведь зато, за исключением моих двадцати паев, вы остаетесь теперь единственным владельцем, – возразил Платон, который на двадцать лет был моложе своего кузена и потому, в силу детской еще привычки, относился к нему со всеми формами внешней почтительности. Максим Григорьевич говорил ему «ты» и «Платоша», как, бывало, говаривал и в те годы, когда держал маленького Платошу на руках, а маленький Платоша, сделавшись тридцатитрехлетним Платоном Васильевичем и ведя уже двенадцать лет общие большие денежные дела и обороты со своим бывшим опекуном, относился к нему на «вы», как и во время оно, а звал не иначе как «Максим Григорьевич» и только за глаза позволял себе иногда дружески-ироническое наименование «старец».

– Все так, – согласился Максим Григорьевич, – но я никак не рассчитывал, что придется платить тебе по этой сохранной расписке теперь же... Я думал, что ты раньше марта с меня не потребуешь...

– Ах, милый Максим Григорьевич! Мне ужасно совестно, но... что же делать!.. Вы сами знаете, какая нетерпящая крайность! – оправдывался Платон, не без удовольствия ощущая в своем боковом кармане толстую пачку крупных банковских билетов.

– Смотри, брат, зарываешься! – дружески предостерег Максим Григорьевич, покачав своею опрятненькой лысой и седой головой.

– Да ведь нельзя же и без риска! – пожал плечами Платон Васильевич.

– Кто говорит!.. Но риск промысловый не то, что риск биржевой. Лучше держись моего правила: «Богатей медленно» – это вернее будет.

– Не то время теперь, братец!

– Не то время... А в трубу вылетишь – при твоём-то положении в свете, при твоей служебной карьере, – тогда что?

– Я-то?.. А мозги на что?.. Знаете пословицу: «На то и щука в море...»

– «...чтобы карась не дремал», – знаю, голубчик; так вот, и будь карасем, по-моему...

– Нет, уж я лучше предпочитаю быть щукой!

– Я, мой друг, весь век карасем был и точно не дремал; зато теперь триста тысяч неприкосновенных, чистоганом лежат, да помимо того в оборотах, миллионными делами ворочаем!

– И все-таки, значит, рискуете.

– Мой риск – не твой. Пожалуй, рискуй по-моему – внакладе не останешься.

– А я и по-своему, и по-вашему рискую: ведь вот же проект насчет железопрокатного завода...

– А кстати, – перебил его кузен, по-видимому живо заинтересовавшись напоминанием об этом проекте, – давеча не успел я спросить тебя: был ты в министерстве?

– Был! И в министерстве был, и у Картонаки был, и у Грод-

нянского, и у Розеншпица, и в редакции у Цемша был, – одним словом, у вся эллины и иудеи!

– Ну и что же? – оживленно спросил «старец».

– Прекрасно! В министерстве задержки не будет: там ведь, сами знаете, ваше имя – олицетворенный кредит! Картонаки и Розеншпиц идут в долю, Гроднянский охотно законтрактуются у нас, а Цемш обещал самую деятельную поддержку и агитацию в своей газете... Тысяч пять придется, конечно, заплатить ему.

– Ну уж это как водится! – с оттенком какого-то презрения махнул рукою Максим Григорьевич.

Подали кофе.

«Старец» подошел к изящно инкрустированной шкатулке и достал из нее сигару.

– Постойте, братец, не закуривайте! – с живостью остановил его Платон Васильевич. – Я вчера, по случаю, добыл себе на пробу сотню превосходных сигар и доволен как нельзя более! Розеншпиц рекомендовал. Я уверен, что вам понравится. Вот попробуйте-ка!

И он, вынув из портсигара совсем уже готовую, обрезанную регалию, предупредительно подал ее своему кузену.

Максим Григорьевич имел обыкновение, куря сигару, сильно увлажнять и растрошивать между зубами ее конец. Посмаковав предложенную регалию, он, после первых же затяжек ароматным дымом, поморщился и отложил ее в сторону.

– Нет, брат, не нравится мне твоя сигара, – заметил он при этом кузену.

– А что так? – спросил Платон с какою-то странной озабоченностью.

– Да и на вкус как-то не того... горечь в ней какая-то странная, и вообще... не нравится.

– Нет, да вы курите! Это, может, вам только так вначале показалось или попалась скверная, – убеждал «старца» Вельтищев. – Не хотите ли, я вам дам другую?

– Нет, спасибо... может, и в самом деле, так только показалось или это у меня нынче во рту скверный вкус какой-то... Я ведь вообще как-то все болен в последнее время.

– Бывает, – заметил Платон Васильевич.

– Вероятно, так, – согласился «старец» и снова взялся за оставленную сигару.

– Ну, однако, что это мы все о делах да о делах!.. Поболтаемте лучше о чем-нибудь о веселом! – развязно воскликнул Платон Васильевич, садясь подле «старца», который покойно погрузился в мягкую оттоманку, стоявшую против каминна.

Вельтищев-старший, куря предложенную ему сигару, благосклонно-тихою улыбкой ответил на предложение Вельтищева-младшего.

– В прошлую среду, в опере, вы не заметили в бельэтаже новую *рыжую*? – тем же развязным тоном продолжал Платон.

– Не охотник я до ваших рыжих! – слегка, но благодушно поморщился «старец». – В наше время цыганки лучше были, да и за теми я не больно-то гонялся... А вот ты скажи-ка мне лучше, как твои-то дела?

– Которые? – улыбнулся Вельтищев.

– Да насчет Коробовой... Я слышал стороною, ты заставил ее разъехаться с мужем?

Платон Васильевич слегка нахмурился.

– Да, я желаю этого, – ответил он, немного помедлив.

– И для чего это тебе нужно было – не понимаю! – пожал «старец» плечами.

– Для того, что этот муж, как глупая пешка, стоял на моей дороге.

– Резон! – усмехнулся кузен. – Свертеть голову молодой бабенке...

– Мне так нравилось, – перебил с легким неудовольствием Платон, – я так хотел, и наконец... наконец, я люблю эту женщину!

«Старец» усмехнулся на это, как на вздорные и пустые речи.

Зная и любя своего кузена, он был убежден, что этот человек, в сущности, никого и ничего не любит, да и любить не может.

Они замолчали.

«Старец» сосредоточенно курил сигару и задумчиво глядел своими тихими, голубыми глазами в огонь камина.

Нетронутая чашка кофе остывала перед ним на маленьком столике.

Платон, поднявшись с оттоманки как бы в ожидании чего-то, ходил неслышными шагами по мягкому ковру, сплошь покрывавшему паркет этой комнаты, и по временам искоса посматривал на брата острым и внимательно наблюдающим взглядом. Молчание это длилось минут десять.

Сигара была докурена уже до половины.

Вдруг «старец» сделал какое-то порывистое и как бы вынужденное движение, словно бы силясь подняться, и тихо закряхтел болезненным стоном.

Платон вздрогнул, моментально остановился на месте – и все свое чуткое внимание, весь тревожный взгляд сосредоточил на своем кузене.

– Платоша... Платоша... – с усилием прошептал Вельтищев странно коснеющим и заплетающимся языком. – Что это... Господи!.. Как дурно мне вдруг... Платоша... помоги, голубчик...

Платон на цыпочках, неслышными шагами поспешно кинулся к нему.

– Что с вами, братец? – спросил он встревоженным шепотом.

– Дурно... дурно... в глазах темно... мутит в груди... в голове что-то, – бормотал «старец» все более слабеющим голосом и, как слепой, ошупью простирал вперед руки, словно бы ища чего-то. – Воды... воды мне! – выговорил он с усили-

ем, надсаживаясь грудью. – Только тсс... осторожней... чтобы жена не знала... молчи... не говори ей... испугается... не тревожь... это пройдет ведь...

– Пройдет! – успокаивал кузен. – Вы, должно быть, лишнего что-нибудь скушали за обедом... это простые спазмы... вы прилягте-ка, а я вам сейчас воды подам...

Но «старец» был уже в бессознательном состоянии. Платон одною рукою прислонил к своей груди его голову, а в другой держал его повисшую руку.

Максим Григорьевич изредка конвульсивно и тяжело подергивался, но вот он широко раскрыл свои уже безжизненные, потухшие глаза, – нервная судорога в последний раз искривила мускулы его гладенько выбритого лица; глаза опять захлопнулись, и... вслед за тем весь стан его как-то оселся и голова тяжело повисла на руку кузена.

Вельтищев продолжал стоять над ним все в том же положении, поддерживая его тело.

В комнате царствовала глубокая тишина. Только бронзовые часы на камине чуть слышно отчеканивали секунды да изредка каменный уголь потрескивал в пылающем камине.

«Однако как он быстро холодеет! – мысленно сказал себе Вельтищев, чувствуя, как под его ладонями начинает охладевать голова и рука его кузена. – Но точно ли?..»

Он бережно опустил голову «старца» на спинку оттоманки. Пощупал пульс – неслышен. Внимательно приложил ухо к груди, послушал с минуту – не бьется.

Очевидно, дело уже было кончено.

Вельтищев поднялся, провел по лицу руками и потянулся, словно бы от чрезмерной усталости.

Пройдясь раза два по комнате, он неторопливо огляделся вокруг, как бы соображая, что теперь следует делать.

Взгляд его прежде всего отыскивал на ковре окурок сигары, выпущенной в первую минуту дурноты обессиленными пальцами покойного.

Вельтищев бросил его в жарко пылавшие уголья и не сводил с него глаз до тех пор, пока тот не сгорел окончательно. Затем он тщательно смахнул носовым платком и развеял по полу пепел, оставшийся на ковре в момент падения сигары.

«Начало сделано – и след заметен, – подумал себе Вельтищев. – Теперь что же еще?»

Сегодня перед обедом, сводя с кузеном некоторые счета по общим их громадным оборотам и предприятиям, он получил со «старца» долг в двести пятьдесят тысяч и возвратил ему его сохранную расписку. «Старец» не разорвал ее тотчас же, потому что вообще не имел обыкновения рвать своих оплаченных векселей и документов, а складывал их, как бы на память или про всякий случай, в особый ящик. Так и теперь: получив с кузена, почти перед самым обедом, свою расписку, он не успел ее спрятать в обычное хранилище, а положил пока до времени в бумажник, лежавший у него в боковом кармане. Вельтищев отыскивал ее теперь в бумажнике кузена, просмотрел внимательно, чтобы убедиться, точно

ли та самая, и, убедаясь, переложил ее в свой собственный бумажник.

Затем он достал из кармана покойника связку ключей, выбрал один из них и отпер металлический несгораемый шкаф, где хранилась денежная касса. Осмотрительно вынул из нее две полновесные пачки, он завернул их в ворох газетной бумаги и прикрыл афишами да какими-то счетными делами.

«Однако при этом должна быть у него опись, откуда и сколько изъято, – вдруг домекнулся Вельтищев. – Улика, черт возьми, коли отыщут потом, при описи имущества... Надо отыскать!»

И он, хорошо зная аккуратность систематического старика, бросился прежде всего к несгораемому шкафу. Ожидания, основанные на знании и верных соображениях, не обманули Вельтищева, вследствие чего его поиски продолжались недолго: вскоре он отыскал в этом шкафу уличающую опись, которая была составлена и написана собственноручно покойным кузеном.

«Уничтожить ее скорее!» – было первою мыслью, которая мелькнула Платону Вельтищеву при взгляде на найденную бумагу.

Он было направился с нею к камину, как вдруг остановился, когда рука его готова уже была швырнуть документ в жаркие уголья.

«Нет, лучше сохранить у себя, про всякий случай, – передумал он в это мгновение, – может, еще и самому пригодит-

ся... Я ведь не знаю, откуда и сколько изъято... могут встретиться какие-нибудь недоразумения, вопросы, сомнения... Надо будет все это тщательно пересмотреть и проверить... Лучше пока припрятать ее...»

И, развернув добытые пачки, он присоединил к ним опись, после чего опять завернул и прикрыл их прежним порядком.

После этой операции шкаф был затворен, а связка ключей сунута в карман покойника.

При этом движении труп покачнулся.

Моментально и с ужасом отскочил от него Вельтищев на середину комнаты.

«Неужели жив еще?» – тревожно подумалось ему, когда через несколько мгновений рассеялся безотчетный панический ужас.

Он со страхом и опасением несмело поднял глаза на мертвого. Но тот полулежал недвижно в самой покойной и естественной позе, как будто и в самом деле заснул на часок после обеда.

«Фу, какое ребячество!» – мысленно укорил сам себя Вельтищев и крупными глотками выпил большой стакан воды, чтобы окончательно утишить минутную вспышку своего волнения.

Оправившись и приведя все в порядок, он осторожно вышел из кабинета, притворив за собою дверь, и отправился на половину Ирины Борисовны.

На звук его шагов отпахнулась тяжелая портьера, и на пороге появилась изящная фигура Вельтищевой. Это была женщина лет тридцати восьми, уже блекнувшая, но все еще красивая. Пожирающий, нетерпеливый взгляд ее тревожно и трепетно остановился на лице кузена. Сильное волнение, и страх, и ожидание смутными тенями пробежали по всем чертам ее физиономии.

– Ну?.. ну что? – нервно схватив его за руки, чуть слышно спросила она голосом, обрывавшимся от внутренней тревоги стольких чувств и ощущений.

– Кончил, – ласково кивнул он ей, как бы лаская и глядя ее успокаивающим взглядом.

– Что кончил? – машинально повторила она, не совсем ясно давая себе отчет в произнесенном им слове.

– Успокойся, мой друг, все кончено, говорю тебе... Ты вся дрожишь... Да что это у тебя такие холодные руки?.. Фу, моя милая, больше мужества! Больше силы!

– Что с ним?.. Говори, что с ним? – не слушая его, повторяла она все тем же задыхающимся шепотом.

– Ничего. Он спит, очень покойно и больше уже не проснется.

У Ирины Борисовны вдруг опустились руки и лицо побледнело еще более.

– Да успокойся же, – настойчиво, твердым и даже строгим тоном сказал он ей и, бережно взяв ее за талию, отвел в покойное кресло. – Теперь не время еще, или иначе можно сразу испортить и погубить все дело.

Она автоматически позволила посадить себя и, словно бы очнувшись, закрыла лицо руками.

– Ну, успокойся же и выслушай... постарайся понять, что я буду говорить тебе, и выполни в точности, – начал Платон Васильевич, опустился перед ней на колени и крепко сжимая ее похолодевшие руки. – Слушай же, дорогая моя: теперь я уеду и возвращусь вечером, часов в десять... Ты по крайней мере еще часа полтора не выходи из этой комнаты, никому не подавай никакого вида... чтобы никто не догадался... Это необходимо, говорю тебе... Через полтора часа можешь войти в кабинет, а еще лучше дождись, когда придут и скажут тебе. К тому времени либо Демьян, либо конторщик войдут будить его... понимаешь?.. Так будет естественнее, проще... Тогда можешь все эти истерики, крики, слезы, обмороки – все что угодно! Но до тех пор, бога ради, постарайся выдержать себя... будь тверже!

– Страшно!.. – вся дрожа, прошептала Ирина Борисовна.

– Полно! Не думай об этом!.. Лучше думай и радуйся, что мы теперь у цели, что все состояние – твое и никто уже не отнимет его у тебя... никто!.. Ну, думай... думай обо мне, о любви, о нашем будущем... Ведь полтора часа, только полтора часа каких-нибудь! От этого, говорю тебе, все, все те-

перь зависит!

Ирина Борисовна бодро встрепенулась.

– Хорошо, – сказала она, подавляя в себе свои гнетущие впечатления. – Я выдержу... я буду спокойна и не выйду отсюда.

– Ну вот и молодец! – ласково ободрил ее Вельтищев. – А теперь вот что: дай мне какой-нибудь платок, или сак, или что-нибудь такое...

Она достала с рабочего столика изящный и вместительный сафьяновый мешок и подала его кузену.

– Теперь прощай пока и помни же, как действовать!.. Не забудь послать за доктором, – напомнил он, нежно и крепко целуя ее руки, и вслед за тем тихо скрылся за портьерой.

* * *

Пройдя в кабинет, он бережно уложил в мешок отобранные пачки.

Он старался не смотреть в ту сторону, где стояла оттоманка, и вместе с тем взгляд его порою как-то невольно, вопреки его собственному желанию, косил на это роковое место. «Старец» полулежал все в прежнем положении. Тухнувшие уголья кидали багровые, перебегающие блики на его мертвенно-бледное лицо и на голый лоб, и эта игра света как будто придавала ему какую-то жизненность; от этого он еще более походил на спящего человека.

Вельтищев взял мешок и осторожно, на цыпочках, вышел из кабинета.

В столовой он столкнулся в дверях с камердинером Демьяном и конторщиком, который шел с какой-то бумагой.

Те почтительно посторонились.

– Куда вы? – спросил их Вельтищев, которого внутренне покорило от этой неожиданной встречи.

– К барину... с бумагой.

– Барин спит... не тревожьте, – предварил он обоих, сумев придать своему тону полное и, так сказать, обыденное спокойствие. – А что, моя карета приехала? – обратился он тут же к Демьяну.

– Уж с полчаса как у подъезда.

II. Кто этот соглядатай?

– Домой прикажете-с?

– Нет, в Дмитровский переулок! – крикнул Вельтищев своему кучеру, в то время как швейцар самого его подсаживал под руку в карету.

Дверца захлопнулась – и бородатый щеголь тронул вожжами пару породистых красивых рысаков, которые бойко покатали щегольской экипаж по освещенным улицам Петербурга.

Карета остановилась у ворот одного, старой постройки, трехэтажного дома.

Вельтищев взял свой мешок и направился с ним к ступенькам, ведущим из-под ворот на парадную лестницу. Проходя под воротами, он, при слабом вечернем освещении, заметил, как мимо его, словно тень, проскользнула чья-то мужская и как будто знакомая ему фигура. Эта встреча неприятно его покорибила.

Он обернулся – фигура проскользнула за ворота, на улицу.

Постояв мгновенье в колеблющемся раздумье, Вельтищев усмехнулся про себя какою-то злобно-иронической усмешкой и направился по лестнице.

Но, подымаясь по ступенькам со своею ношей, он слышал – или ему почудилось, – что за ним кто-то следует осто-

рожными, крадущимися шагами.

Он остановился и прислушался.

Звук шагов тоже замолк.

Вельтищев пошел далее.

Но нет, по пятам его решительно кто-то следует, кто-то крадется за заворотом каменной стены этой лестницы.

– Кто там? – резко окликнул Вельтищев.

Шаги притихли, притаились; но ответа нет ему.

Он повторил еще раз свой вопрос, и так как молчание это показалось ему подозрительным, то, оставя на площадке свою ношу, он быстрыми шагами стал спускаться с лестницы.

Кто-то шибко и уже не скрываясь сбежал по ней под ворота.

Вельтищев мельком, но ясно заметил даже проشمыгнувшую тень этого странного соглядатая.

– Мерзавец! – прошипел он ему вслед с презрением и злобой.

Но время ему было дорого, и потому, поднявшись до своей оставленной ноши, он не взошел, а взбежал с нею на третий этаж и дернул за ручку звонка, которая блестела своею вычищенной медью сбоку двери, обитой зеленым сукном, где красовалась под стеклом изящная дощечка, на которой четкими буквами было оттиснуто: «Людмила Сергеевна Коробова».

Молодая и опрятная горничная, услышав этот сильный,

порывистый звонок, с полуиспугом и недоумением открыла двери.

– Запирайте скорее дверь! – торопливо и озабоченно обронил он слово девушке, словно бы опасаясь, чтобы лестничный соглядатай силою не ворвался сюда по его следу.

Спустив с плеч шубу, Вельтищев, явно взволнованный, бросился со своею драгоценною ношей во внутренние комнаты.

Его встретила там молодая стройная женщина с белокурой, роскошно распущенной косою и с голубыми глазами, которые из-под длинных ресниц и из-под черных бровей светились каким-то холодным блеском.

– Платон, что с тобой?! На тебе просто лица нет! – с удивлением проговорила она звучным, но тоже каким-то металлически-холодным голосом.

– На! Спрячь это... спрячь... куда-нибудь подальше... поскорее... чтобы никто не знал и не видел! – говорил он, указывая на свою ношу.

Людмила Коробова, не спуская с него глаз, в недоумении пожала плечами.

– После, после... теперь некогда... потом все узнаешь... А теперь пока спрячь мне это, пожалуйста.

Он огляделся вокруг, отыскивая глазами удобное место, и, недолго думая, сунул мешок под тюфяк роскошно драпированной постели.

– Пусть полежит тут... ты не тронь его... Я потом зайду и

возьму, – говорил он торопливо и как-то отрывисто.

– Да сядь ты и успокойся! – ласково тронула она его за плечо.

– Да, да... мне надо успокоиться... Я устал, очень устал сегодня... Дай мне стакан лафиту... это подкрепит меня несколько.

Выпив вино, он изнеможенно опустился на диван и полу-прилег на нем.

– Ну, рассказывай же мне, что все это значит? – участливо и любопытно присела она к его изголовью.

– После, потом! – махнул он рукою с нервным движением в лице. – Теперь мне надо отдохнуть... Я сильно измучен... может быть, засну... В три четверти десятого ты разбуди меня; но только, бога ради, никак не позже!

Людмила Сергеевна ответила на это кивком головы и тихо вышла из комнаты.

* * *

Ровно в три четверти десятого ласковая рука красивой женщины осторожно разбудила Вельтищева.

Людмила Сергеевна вполне надеялась, что теперь он разрешит ее нетерпеливое любопытство и откроет причины своего волнения, но Платон Васильевич встал какой-то сумрачный, кислый и, почти молча простившись с нею, тотчас же оставил ее гостеприимную квартиру.

Он уже спустился на нижнюю площадку, как вдруг в полусумраке довольно слабо освещенной лестницы заметил притаившуюся в углу фигуру человека, закутанного в холодное пальто. Отсутствие мехового воротника заменялось у него кашемировым кашне, из-за которого выглядывало болезненно-бледное молодое лицо. Два глаза, горящие, как уголья, страдальчески, но со злобной ненавистью глядели прямо в упор на Вельтищева.

Этот последний запнулся было на мгновение, но выдержал устремленный на него взгляд и, закутавшись в воротник своей дорогой шубы, твердою походкой сошел с последних ступенек.

Молодой человек, под гнетом чувства мучительной нерешительности, крепко стиснул пальцы своих сложенных рук, так что даже суставы их хрустнули, и с судорожным, подавленным вздохом бессильно опустил на грудь свою голову.

III. Жаба

Вельтищев ушел, но беспокойство Людмилы Сергеевны не утишилось с его отсутствием. Оно длилось все время, пока он спал, и теперь достигло наибольшего своего предела. Нынешнее поведение этого человека – поведение столь необычное, его волнение, его смущенность, его неудовольствие, его явное стремление замять всякий разговор, всякую попытку к расспросам – все это казалось слишком необыкновенным и слишком загадочным, чтобы не возбудить в душе Людмилы Сергеевны целый рой сомнений и вопросов. Отчего он приехал такой странный, такой смущенный? Зачем так торопливо и взволнованно приказал девушке поскорее запирать за собою дверь? Что это за мешок, который он считал нужным прежде всего сунуть под тюфяк – в первое попавшееся место, которое показалось ему удобным? Зачем не велел трогать, не велел прикасаться к этому мешку, обещая заехать и взять его? Что такое, наконец, в этом мешке заключается?

Последний вопрос казался всего важнее, потому что он сильно затрагивал женское любопытство. Что в нем заключается? В этом-то и есть вся сила, вся сущность, вся разгадка мучительного вопроса. А вдруг он придет, возьмет этот мешок с собою, и тогда... тогда Людмила Сергеевна, быть может, и не узнает – никогда уже не узнает настоящей сути

какого-то дела, в которое ее обещают посвятить со временем, «после», «потом», а может быть, и вовсе не посвятят; а когда мешок будет увезен, то добиться правды будет ей уже трудно, если даже не окончательно невозможно.

Соблазн был слишком велик. Евино любопытство слишком сильно подстрекало ее. Поколебавшись с минуту, она подошла к постели и с нервной быстротою выдернула из-под тюфяка вещь, в которой заключалась мучащая ее загадка.

«А!.. Это женская вещь... Стало быть, тут замешана женщина!» – мелькнула ей первая мысль при взгляде на туго набитый мешок, и эта мысль кольнула ее душу смутно ревнивым и озлобленным чувством.

Она уже хотела было надавить пружину стального замочка и удовлетворить своему женски жадному любопытству, как вдруг в прихожей раздался звонок.

Людмила Сергеевна, как пойманная на месте школьница, поторопилась сунуть кое-как мешок на прежнее место и поспешила выйти распорядиться, чтобы, кроме Вельтищева, никого не принимать, но было уже поздно.

– Барыни нету дома, – слышала она голос своей девушки, говорившей с кем-то в дверях.

– Неправда, она дома... Я знаю, что она дома! – возражал ей голос человека, очевидно изъявлявшего твердое намерение войти в квартиру.

– Но уверяю вас... ей-богу, ее нет дома! – настаивала горничная, загораживая дорогу.

– Вздор!.. Пропустите меня!

Людмила Сергеевна из-за двери стала чутко прислушиваться к голосу мужчины: кто б это мог так настойчиво ее спрашивать?

– А хотя б и дома, – продолжала горничная, – но она никого не принимает... она нездорова.

– Здорова ли, нет ли – это все равно! Мне нужно ее видеть.

Брови Людмилы Сергеевны нахмурились. Она узнала этот голос. Приход нежданного посетителя был очень неприятен ей, и особенно в настоящую минуту.

– Ну так я вам скажу, что вас-то именно и не велено впускать! – воскликнула горничная, делая последнюю попытку загородить собою дорогу назойливому гостю.

В это самое мгновение m-те Коробова отворила дверь и появилась со своими нахмуренными бровями на пороге прихожей.

– Что вам угодно от меня? – спросила она посетителя ровным, сдержанным и холодным тоном.

– Видеть вас... говорить с вами! – порывисто кинулся к ней вошедший.

– Нам не о чем говорить с вами... Я считаю, что все наши разговоры уже кончены.

– Людмила!.. Бога ради!.. Я не уйду отсюда – мне нужно... необходимо говорить с тобою... Умоляю тебя!

Красивая женщина пожала плечами и с полупрезрительным состраданием проронила ему:

– Войдите!

Он вошел как был, в холодном пальто, с кашемировым кашне, и словно бы в тяжелом изнеможении опустился на первый попавшийся стул, подперев рукою свою голову.

Людмила Сергеевна стояла перед ним, спокойно скрестив на груди руки, и, глядя на него холодным взглядом, ждала, что будет дальше.

Гость ее сидел, словно бы стараясь отдохнуть, успокоиться, подавить в себе волнение и собрать свои мысли.

Наконец он поднял на нее грустный взгляд, горевший лихорадочным блеском. Этот взгляд как будто искал – есть ли в ее лице хоть малейший оттенок участия и сострадания? Но Коробова стояла все с тем же ледяным спокойствием.

– Людмила, я не могу без тебя... не могу, – проговорил он смутно. – Людмила... вернись ко мне!

– Вам только это нужно было сказать мне? – спросила она в ответ на его просьбу.

– Нет, я много, много хочу сказать тебе! – торопливо поднялся он с места, опасаясь, чтобы она не кончила на этой же фразе его объяснение. – Но прежде всего – я люблю тебя... Знать, что ты бросила меня, ушла от меня, – для меня невыносимо!..

– Чем же я могу помочь тут? – пожалала она плечами.

– Вернись ко мне – и я спасен!.. Ты воскресишь меня! Я снова начну трудиться, работать...

– Работать на двух гораздо труднее; тебе одному, я думаю,

много легче теперь.

– Что говорить о том, что труднее, что легче! – перебил он. – Будь ты со мною – я бы чувствовал в себе силы на самый тяжкий труд и был бы счастлив до последней минуты моей жизни.

– Признаюсь, я этого не понимаю, – покачала она головою. – К чему мне твой труд, скажи, пожалуйста? Да и что такое труд какого-нибудь технолога? Много ли этот труд приносит в наше время?

– Как – много ли?! Дай мне прежде кончить мое образование – и передо мною тогда открыта широкая дорога! Наш труд теперь нужен – он ценится, он откроет мне и дорогу, и средства.

– Хм!.. – усмехнулась она. – Ты говоришь о «средствах»... «Средства» для меня недостаточны. Мне нужны не «средства», а «богатство» – понимаешь ли, друг мой? – а до богатства какому-нибудь студенту-технологу еще очень далеко.

– И это *ты* говоришь мне! – с горечью промолвил он, глядя в ее холодные блестящие глаза. – Разве ты была богата, когда шла за меня замуж? Разве ты так привыкла к богатству, к роскоши?.. И для чего ж ты мне не говорила этого полтора года назад?

– Для того, что мне *нужно* было выйти замуж, – пояснила она, нимало не смущаясь.

– Молчи! – с силою схватил он ее за руку. – Молчи! Не напоминай мне хоть этого-то, если я раз уже простил вам эту

гнусную ловушку.

– Валерьян Алексеевич, нельзя ли без трагикомических сцен! – с достоинством высвободила она от него свою руку. – И потом, я бы просила вас выбирать ваши выражения: моя мать и я – мы считаем себя выше всяких «ловушек». Вы забываете, что вы настойчиво просили моей руки, и я только согласилась на вашу просьбу; а если вы обманулись в ваших ожиданиях, то вас никто не просил прощать меня. Вы говорите, что любите меня, – очень сожалею об этом, но чтоб вернуться к вам – нечего и говорить! Я не вернусь к вам, во-первых, потому, что это было бы глупо; во-вторых, потому, что вы, с вашей глупой технологией, пока еще круглый голяк, вы – нищий, заботящийся о куске хлеба, а я нужды терпеть не могу! Я не выношу ее! Ведь вы не могли бы доставить мне ни этих ковров, ни этих бронз, ни экипажа, – так о чем же говорить нам?! Раз, что вы женились, вы хоть воруйте, мне все равно, мне нет дела до ваших путей, но доставляйте жене довольство и комфорт; вы этого не сумели сделать – пеняйте на себя, а меня покорнейше прошу оставить в покое.

Коробов всплеснул руками.

– Господи! И я все-таки люблю такую женщину! – с отчаянием прошептал он, закрывая лицо свое.

– Повторяю: очень жаль, если это правда, – равнодушно усмехнулась она, – но что же делать! Я могу вам посоветовать одно только: постарайтесь поскорее разлюбить меня.

– О, если бы это было возможно! – из глубины души

вздохнул Коробов.

– А невозможно, так я бы на вашем месте, чем так-то мучиться да дурака из себя разыгрывать, уж лучше предпочла бы покончить с собою, хотя бы из-за одного только самолюбия.

– Как это покончить? – встrepенулся он, выходя из минутного оцепенения.

– Очень просто: пулю в лоб или дозу стрихнина... да, наконец, и Нева ведь недалеко... мало ли есть способов!

Коробов с ужасом и изумлением, как бы не веря глазам и ушам своим, глядел на женщину, носящую имя жены его.

– А, так вот оно что! – медленно и глухо проговорил он. – Ну так слушайте же! Ваш совет не дурен; но я за него не благодарю вас, потому что и без вас пришел было к той же самой мысли. Да, Людмила Сергеевна, я хотел покончить с собою; у меня уж и револьвер припасен для этого; но... откровенно говоря вам, струсил, духу не хватило в последнюю минуту!.. Во мне еще жила маленькая искорка надежды, что вы не окончательно для меня потеряны, – может быть, от этого-то и струсил я!.. Потом мне пришла другая мысль... не знаю, как она вам понравится... Вот видите ли: с тех пор, как вы переехали в эти палаты, я, тоскуя по вас беспредельно, имел глупость каждый вечер бродить по улице под вашими окнами, в надежде увидеть хоть тень вашу... я мучился, я страдал в эти часы, но все-таки шел сюда, – мне это даже какое-то болезненное наслаждение доставляло: прийти, ходить, и сто-

ять здесь целые часы, и наконец увидеть ваш облик, когда вы на мгновение мелькнете в окне...

– Недостойно порядочного реалиста, – перебив его, с небрежной иронией уронила слово Людмила Сергеевна.

– Может быть, но потрудитесь выслушать.

Он сделал над собою усилие и продолжил:

– Бродя у вас под окнами, я почти каждый раз видел, как к этим воротам подъезжал экипаж, как из него выходил господин... господин Вельтищев. – Последнее слово Коробов произнес, делая над собою тяжкое усилие. – После этого я видел, как иногда в ваших окнах мелькали две тени.

– А после этого? – поддразнила его супруга.

– А после этого... то есть после того, как я смалодушничал в последнюю минуту, готовясь застрелиться, мне пришла другая мысль.

– Без сомнения – покончить прежде с господином Вельтищевым и со мною? – с высокомерным презрением перебила Коробова.

– Первое вы угадали. Да: я хотел покончить с человеком, который разбил всю мою жизнь, отнял у меня мое счастье.

– Pardon, вы начинаете изъясняться рутинно-красивыми фразами: вы знаете, я этого в вас никогда не любила.

Коробов как бешеный вскочил с места. Если фраза его и была на сколько-нибудь рутинно-красива, то она вырвалась у него невольно из души, сама собою, потому что он действительно чувствовал глубокую истину своих слов, потому

что действительно пришел откуда-то посторонний человек и незаметно отнял у него все, чем дорога и красна казалась ему жизнь, – и потому-то эта последняя язвительная и ледяная насмешка жены подействовала на него так, как будто он нечаянно прикоснулся к какой-то гадине, к чему-то живому, но холодному и склизкому.

– Что? – обернулась она на него при этом движении. – Уж не хотите ли вы застрелить меня сейчас же? Можете! Но это будет бесполезное и бессильное мщение, потому что, умирая, я все-таки скажу, что вы человек глупый и бесхарактерный.

– Бесхарактерный – может быть, – грустно согласился Коробов, – потому что сегодня у меня не поднялась рука убить вашего любовника.

– И никогда не подыметься! Я в этом совершенно уверена. А главное – это совершенно бесполезно: убей вы сегодня Вельтищева, у меня завтра будет другой, а не другой, так третий; но вы – пока вы бедны и ничтожны – вы у меня не будете.

Она вдруг остановилась перед ним и даже очень ласково взяла его за руку.

– Послушайте, я ведь не враг вам, я вовсе не ненавижу вас, да мне и не за что вас ненавидеть, в сущности! – заговорила она спокойным, ласковым и даже кротким голосом. – Ведь если я бросила вас, то это единственно потому, что я не выношу бедности, мы с вами расстались не ссорясь, я, не

обманывая вас, прямо сказала, что переезжаю на содержание к Вельтищеву... Я жить хочу!.. Мне – поймите вы! – мне нужен тот воздух, которого вы мне дать не в состоянии... Мы, в сущности, можем остаться с вами друзьями. Если вы меня ревнуете к Вельтищеву, то это совсем неосновательно, потому что я Вельтищева не люблю ни на каплю. Я им только пользуюсь, но... ведь не всегда же мы с вами будем порознь, ведь я ваша законная жена. Пока – я хочу еще жить так, как мне хочется; но... пройдут годы, пройдет молодость, захочется покою, – мы с вами можем снова сойтись... У меня будут хорошие средства; может, и у вас они будут, – мы обоюднo приготовим себе мирную и покойную старость... Смотрите на вещи прямее и практичнее. Хотите вы ежемесячно получать с Вельтищева хорошие деньги?.. Хотите? – я легко могу вам это устроить!

Коробов с омерзением выдернул свою руку.

– Жаба!.. Холодная, склизкая жаба! – гадливо и презрительно произнес он и быстро вышел из комнаты.

Людмила Сергеевна, не ожидавшая столь скорого и решительного окончания этой сцены, в недоумении стояла на одном месте. Она слышала, как, удаляясь, муж хлопнул за собою выходной дверью, и, с полной искренностью пожав плечами, могла произнести только:

– Глупец нелепый! Никого больше не принимать, Палаша! – крикнула она горничной.

– А Платона Васильевича?

– Даже и Платона Васильевича, пока я не скажу тебе!

И m-me Коробова на ключ затворила за собою дверь своей спальни.

IV. Что такое в спрятанном мешке?

Почувствовав себя снова совершенно наедине и удостоверяясь, что за нею нельзя наблюдать даже и сквозь замочную скважину, Людмила спешно достала из-под тюфяка сафьяновый сак и нажала стальную пружину. Сак раскрылся. Газетная бумага, и больше ничего, представилась взгляду Людмилы Сергеевны в первое мгновение. Но этого не может быть, в этой газетной бумаге, должно быть, что-нибудь твердое. Попыталась вытащить – нет, запихано довольно плотно. Однако она повторила усилие и вытащила одну за другою две полновесные пачки. Инстинкт ей подсказывал, что это неспроста, что в этих пачках кроется нечто особенное, важное, большое. Она развернула одну – деньги!.. Развернула другую – тоже деньги!

У нее захватило дух и опустились руки. Словно обессилев и даже испугавшись разгадки того, что мучило ее любопытство, она опустилась на минуту в кресло, чтобы собрать в порядок свои мысли и пересилить ощущения, поднятые в ее душе этим внезапным открытием.

Через несколько минут она обстоятельно и с полным вниманием стала пересматривать обе пачки. В одной были все крупные банковские билеты, в другой – весьма немного векселей, еще менее акций и облигаций и вообще разных процентных бумаг; но зато очень, очень много радужных ассиг-

наций.

Коробова начала считать.

Трепещущая рука ее нетерпеливо и нервно перебирала бумагу за бумагой, блестящий взор лихорадочно следил нумера и цифры, а побледневшие, сухие губы, дрожа, лепетали счет единиц, десятков, сотен и тысяч.

Волнение Людмилы Сергеевны было слишком велико. Она невольно сбивалась и путалась в счете, начинала снова и снова сбивалась, пока наконец не прибегла к помощи карандаша и бумажки. Отсчитав известное количество сотен, она отмечала цифру и начинала следующий счет. Прошло около двух часов времени, когда она наконец справилась с этой работой и свела общий итог. В этом итоге оказалось банковых билетов на триста тысяч, а прочих бумаг и денег – на двести тысяч с лишком.

* * *

Это была часть той оборотной суммы, которую покойный Вельтищев, заранее изъяв из обращения, приготовил для первых расплат и задатков по новому своему предприятию, которое, как известно уже, заключалось в железопрокатном заводе. Цифра этого предприятия доходила до двух миллионов. Покойник, конечно, рисковал, но риск его всегда отличался тонкою и верною сметкой; он знал себя, знал свое дело и в эфемерные предприятия никогда не пускался. Он

всегда почти, можно сказать, бил только наверняка. Ворочая миллионными делами, он имел большие капиталы в обороте; но этих капиталов, согласно своим нравственным правилам, он не считал исключительно своею собственностью, так как тут в значительной доле были деньги и его старого компаньона Платона Васильевича, и Пупырева, и Картонаки, и некоторых других. *Своими* он считал только те «неприкосновенные» *триста* тысяч, которые лежали у него в банке и должны были теперь сделаться наследием Ирины Борисовны. Платон Васильевич сам давно уже не занимался как следует своими делами, сдавши эту обузу исключительно на плечи старого кузена и бывшего опекуна своего, который, оставаясь вечно погруженным в свои громадные дела и обороты, был слеп до всего остального, не замечая и не подозревая даже того, что уже два или три года – правда, очень тонко и ловко – происходило на половине его супруги, у которой, по близким родственным отношениям, зачастую за полночь сиживал Платон Васильевич. «Старец» был очень расчетлив, даже, можно сказать, скуп до известной степени и во многом стеснял неосновательные прихоти своей супруги, которую, однако, в скупости и слепоте своей любил всюю душою. Отношения его к кузену в последние два года приняли несколько натянутый характер. Платон Васильевич, слишком надеявшийся на неисчерпаемость своего состояния и на дельную голову кузена, уже много лет предавался безрасчетным тратам, не стесняя ни в чем свои капризы и прихоти. Он

предался биржевой игре, в которой у него уже неоднократно лопались очень крупные куши. Максим Григорьевич выручал его, предупреждал, советовал, соболезнавал; но кончилось все это тем, что Платон в глубине души стал тяготиться нравственным авторитетом своего двоюродного брата. Между ними, несмотря на все благодушие Максима Григорьевича, зачастую стали выходить неприятные сцены. «Старец» видел, что кузен его путается все более, и, боясь, что по неосторожности он может как-нибудь запутать и его, предложил ему однажды окончательно выделиться из общих дел и предприятий. Это предложение было крайне неприятно Платону, который чувствовал, что с выделением его он чрез несколько лет лопнет окончательно, при своем относительно уже маленьком капитале. Оно даже пугало его, потому что его сила, его кредит только и держались авторитетом его старшего кузена. Между тем ему думалось, что имея он в руках своих безраздельно все те капиталы, которыми двигает «старец», то через несколько лет он изумил бы мир своими гигантскими предприятиями и своим несметным состоянием. Мы можем полагать, что это была не более как приятная иллюзия, но эта иллюзия подвигла Платона Васильевича на многое... «Старец» меж тем окончательно уже порешил выделить из дела кузена, но... этого, как мы видели, не удалось ему привести в исполнение. Смерть захватила его, так сказать, на половине дороги. Между обоими компаньонами были свои старые счета, в силу которых Максим Григорьевич

(окончательно не обращавшийся к своим «неприкосновенным») занимал иногда на свои особые дела и предприятия значительные суммы у своих компаньонов, между которыми Платон Васильевич, как ближайший его родственник, был первым лицом. «Старец», ведя очень аккуратно их общие дела, не прочь был иногда слегка поэксплуатировать займом капитал кузена, которому в подобных обстоятельствах выдавал собственноручную сохранную расписку. Эта эксплуатация всегда происходила в тех случаях, когда Максим Григорьевич затевал устройство, вне компании, какого-нибудь своего собственного, особого предприятия. Таким точно образом были им заняты у Платона и те двести пятьдесят тысяч, которые он возвратил ему сегодня, вследствие экстренного требования, предъявленного кузеном накануне. Но эта экстраординарная уплата окончательно утвердила в «старце» убеждение в необходимости выделить из дел кузена. Кузен, которому за несколько времени до нынешнего дня горяча высказал Максим Григорьевич свое намерение, принял это известие довольно равнодушно, потому что в это время в душе и в голове его зрели уже другие обширные планы.

Необходимое начало осуществления этих планов нам показала первая глава нашего повествования.

Максим Григорьевич, порешив взять на себя новое двухмиллионное предприятие с железопрокатным заводом, изъясил из оборотов свыше пятисот тысяч, чтобы на первое горячее время иметь в руках своих необходимые деньги, и эти-то

самые деньги лежали теперь перед Людмилой Сергеевной.

V. М-ме Коробова доходит до правды

Теперь для нее еще более важный и настойчивый вопрос представился в том, как и зачем попали в ее квартиру эти деньги. Зачем они так спешно были сунуты под тюфяк? Что значит этот странный, взволнованный вид, с которым Вельтищев появился нынче у нее? Его усталость, очевидно более нравственная, чем физическая, его сумрачность, молчаливость и даже какая-то таинственность – что все это значит? – задавала она себе тысячу вопросов.

«О, это неспроста! И надо во что бы то ни стало добиться истины!» – решила себе Людмила Коробова и, упаковав деньги в мешок, велела девушке дать ей одеваться и кликнуть поскорей извозчика. Накинув на голову темный платок и закутавшись в шубу, она захватила мешок с собою и велела извозчику ехать на Галерную улицу, где обитал Платон Васильевич в своей роскошной холостяцкой квартире. И прислуга, и расположение комнат этой квартиры были ей хорошо известны, потому что уже не в первый раз доводилось ей совершать сюда свои экскурсии.

– Дома барин? – спросила она отворившего ей камердинера, не забыв предварительно спрятать мешок под широкую полу своей дорогой шубы.

– Никак нет, они теперь, должно быть, у братца, потому там такое несчастье, – сообщил ей словоохотливый лакей.

– Какое несчастье? В чем дело? – насторожила Коробова свое пытлиное внимание.

– Максим Григорьевич изволили скоропостижно скончаться.

– Быть не может! – с искренним изумлением воскликнула Людмила Сергеевна.

– Так точно-с. После обеда, значит, как сидели перед камином, так и скончались... Никто не знал... Вечером, часов в девять, приезжал сюда камердинер ихний Демьян, будучи, значит, послан от барыни за Платон Васильевичем; так Демьян сказывал, что конторщик вошел в кабинет с докладом и думал, что Максим Григорьевич почивают, ан глядь – они уже померши... Переполох такой в доме, что просто страсть!

– Платон Васильевич давно как из дому? – спросила Коробова.

– Давно-с. Они еще днем как поехали к братцу кушать, так и не возвращались.

– Так он обедал у Максима Григорьевича?

– Так точно-с, и как мне Демьян доподлинно сказывал, что после обеда они коё время сидели с братцем в кабинете, а потом вышли оттелева, и как, значит, Демьян с конторщиком попались навстречу, так они приказали им даже не тревожить Максима Григорьевича, потому, сказывают, спит. А Платон Васильевич не у вашей ли милости изволили быть?

– Да, он был у меня, – оторопев несколько, ответила Людмила. – А что? В чем дело? – с внутренней тревогой спро-

сила она.

– Ничего-с, дела, собственно, никакого, а только Демьян сказывал, что, садившись в карету, они кучеру крикнули: в Дмитровский переулок; так я это себе и подумал, что, должно быть, они изволили к вашей милости поехать, потому хотя я доподлино в точности вашего адреса и не знаю, но только известен, что вы изволите проживать в Дмитровском.

– В котором часу, говорите вы, он уехал от брата? – как бы невзначай спросила Людмила.

– В точности знать не могу, но только Демьян сказывал, что около часу спустя после обеда – часу в восьмом, значит.

Это был уже последний вопрос, предложенный m-me Коробовой словоохотливому лакею. Теперь она сочла только нужным выразить свое сожаление, что не застала Платона Васильевича дома, и отправилась восвояси.

* * *

«Часу в восьмом, значит, – повторяла она себе дорогою последние слова лакея. – Около половины восьмого он был уже у меня... и кучеру приказал ехать в Дмитровский... Значит, он ни к кому и никуда не заезжал, судя по времени, а оттуда проехал прямо ко мне... Откуда же этот мешок взялся?»

«Вышел прямо из кабинета, приказал не тревожить – потому спит... – продолжала соображать Людмила. – А эта

ажитация, в которой он приехал ко мне?..»

– О, теперь все понятно!.. Теперь я догадываюсь, откуда взялся мешок и чьи это деньги! – чуть не в полный голос воскликнула Коробова и, беспрестанно понукая извозчика, приказала ему как можно скорее везти себя в Дмитровский переулок.

Приехавши домой, она снова затворилась в своей спальне и снова выложила обе пачки.

«У кого, однако, мог он взять этот мешок? – задавала себе вопрос Людмила Сергеевна. – Мешок, нет сомнения, женский... он взят у женщины... Осмотреть бы его хорошенько – не найдется ли в нем еще чего любопытного?»

И вот, осматривая внутренность сака, она нашла в нем особую пазуху, запустила в нее руку и достала сложенный листок бумаги.

Это был счет из модного магазина, в заголовке которого значилось: «A madame de Weltistcheff».

– А, так вот кому принадлежит мешок! – воскликнула Людмила Коробова. «А что, если скоропостижная смерть „старца“ – их обоюдное дело?»

Платон Васильевич проговорился ей однажды, что «имел несчастье» затеять связь с женой своего кузена, что эта связь подчас тяготит его и что хорошо было бы как-нибудь ловко от нее отделаться. Затем, в одну из откровенных минут, он высказал ей, что дела его несколько запутаны. Точно так же, любя иногда помечтать, он высказывал, что если бы ка-

кими-нибудь судьбами ему досталось в руки хорошее состояние, хотя бы несколько побольше того, которое было у него лет двенадцать-тринадцать назад, хотя бы такое, как состояние «старца», то он изумил бы мир грандиозностью своих оборотов: он в пять-шесть лет удесятирил бы это состояние и стал бы кумиром всех европейских бирж. Это были мечты, но мечты такие, в которых слишком ясно сказывалось стремление Вельтищева к крупной наживе. Зная хорошо характер и нравственные принципы своего возлюбленного и соображая все эти обстоятельства, Людмила Коробова пришла почти к убеждению, что странные деньги эти находятся в ее руках благодаря скоропостижной смерти «старца».

«А что, если я вдруг возьму и разрушу ваши широкие планы, мой милейший Платон Васильевич?» – пришла вдруг ей в голову злостная, но веселая мысль.

VI. Вор у вора дубинку украл

«Быть содержанкой – быть рабой, – не одно ли и то же?.. Даже хуже: это значит – быть игрушкой! – думала Людмила Сергеевна, глядя на полновесные пачки. – Нравится сегодня игрушка – ее холят, лелеют, берегут; а завтра игрушка надоела – бросай ее в сторону или ломай ее! – все равно новая будет. Так не лучше ли, вместо того чтобы самой играть роль игрушки, заставить его быть моею игрушкой?.. И разве невозможно это? Стоит только воспользоваться деньгами, которые лежат теперь передо мною!»

Она в раздумье раза два прошлась по комнате.

«И в самом деле, что может угрожать мне, если бы я решилась воспользоваться ими? Кто знает, кто видел, что он привез их ко мне? Где доказательства на это?»

Но мало того! Эти деньги нечистые! Они добыты не прямым путем, потому что иначе ему незачем бы было везти их ко мне и совать под тюфяк, когда гораздо проще он мог привезти их в свою собственную квартиру. Это, очевидно, сделано впопыхах, необдуманно или плохо обдуманно, сторяча, просто по первому впечатлению, при желании где бы то ни было, но только поскорее скрыть свою добычу. Вот почему это сделано! Он хотел скрыть – потому что иначе незачем было бы и от меня скрывать, что тут деньги. Это ясно. Стало быть... Стало быть, мне ровно ничто не угрожает! Доносить

на меня он не пойдет и не посмеет, потому что это значило бы донести на самого себя... самого себя послать на каторгу!.. А если моя догадка справедлива, что это их обоюдное дело, – тогда они оба в моих руках, и навсегда, навсегда – пока живы! Я могу тогда сделать с ним все, что бы ни вздумала. Он тогда раб мой, игрушка моя! Могу заставить его развестись со мной, жениться на мне – и он слова не пикнет против! Он сделает все, все, потому что в моей воле будет ошельмовать его, швырнуть на скамью подсудимых, послать на каторгу... И все это зависит от одной только моей доброй воли сделать эти деньги моими!

А если... если они добыты не тем путем, как я думаю? Если эти деньги, без всякого преступления, просто принадлежат ему или кому другому и ко мне попали только так, в силу какой-нибудь случайности, которой я не знаю, – тогда что? Тогда?..»

Людмила Коробова на минуту призадумалась.

«И тогда они все-таки мои! – с торжеством порешила она. – Прежде всего, нет свидетелей, нет доказательств, что они были привезены ко мне, да и притом самый привоз их сюда и все обстоятельства так странны, что все это могло бы прийти в голову либо преступнику, либо сумасшедшему... В этом случае придется уничтожить только векселя да несколько именных билетов, и за всем тем у меня все-таки останется более трехсот семидесяти тысяч. Значит, я могу не быть ни содержанкой, ни рабою, ни игрушкой!

Но так как мне инстинкт какой-то говорит, что тут дело не обошлось без преступления, то... Да! То я буду его женою, буду носить громкое, известное имя, буду иметь видное положение в свете, вечного раба у своих ног; буду иметь свое, свое собственное состояние, независимость и свободу делать все что угодно!»

* * *

Людмила Коробова быстро сообразила весь план. Дело казалось так легко, так просто и сулило такую соблазнительную удачу!

Она изорвала четыре каких-то романа, несколько газетных листов и целый ворох афиш, обрезала их и складывала в тот самый формат, который имели обе денежные пачки. Вес и объем этой мешаной бумаги показались ей наконец удовлетворительными, и она бережно запаковала их в те самые газеты, которые служили оберткой денежным пачкам. Сходство было полное, но тут особого сходства и не требовалось — лишь бы только в мешок уложились.

Коробова попробовала запихнуть — обе пачки вошли в сак хотя и трудно, но как раз в достодолжную меру, после чего стальная замочная пружина была захлопнута и сак отправлен под тюфяк, на свое прежнее место.

VII. Нежная маменька

Девушка m-me Коробовой осталась очень удивлена, когда ее барыня во втором часу ночи приказала ей снова подать себе одеться и кликнуть извозчика.

На этот раз путешествие Людмилы Сергеевны было непродолжительно, так как она приказала везти себя поблизости, в Свечной переулок, где обитала ее маменька.

Людмила Сергеевна в жизни своей являлась достойным яблоком этой старой яблони, от которой оно и по пословице не должно далеко откатываться.

Маменька Людмилы Сергеевны во время оно плясала «у воды» в составе императорского Санкт-Петербургского балета.

Однажды, несмотря на то что эта жрица Терпсихоры весьма скромно подвизалась «у воды», на заднем плане, в числе целых трех дюжин статисток, ее зорким оком заметил старый граф Харитонов-Трофимов и порешил: *qu'elle est charmante, cette petite!*¹ А порешив такое, он вслед за тем порешил, что эту *charmante petite* необходимо нужно взять к себе на содержание. Это было нетрудно, так как «обделать все дело» взялась одна приятельница одного из старых приятелей старого графа, тоже подвизавшаяся на балетной сцене. Плодом этого «содержания» явилась хорошенькая девочка Людми-

¹ Как она мила, эта крошка! (*фр.*)

ла, названная сим именем в честь слабости графа к романтическому направлению поэзии его молодого времени, когда имя Людмила, с легкой руки Жуковского и Пушкина, играло не последнюю роль в поэмах тогдашних стихотворцев. Старый граф, позабавившись некоторое время, выдал свою балетную *faiblesse*², как водится, замуж за одного из своих подчиненных чиновников, который, ввиду приличного вознаграждения и будущих благ по службе, решился прикрыть старческий грех собственной своею персоной. Чиновник пожил некоторое время и скончался, не оставив по себе никакого следа в сердце графской слабости, которая еще и при жизни его не особенно стеснялась в выборе своих средств жизни и сердечных развлечений, тем более что, кроме старого графа, оказывалось немало охотников доставлять эти развлечения балетной корифейке. По смерти мужа та же самая жизнь продолжалась в размерах еще более широких, так как теперь балерина, в положении интересной вдовы, не находила нужным прикрывать флером скромности и таинственности интимные стороны своего будуара. Девочка ее росла среди атмосферы интриг театральных, интриг будуарных, интриг маскарадных, интриг денежных... Матушка мало заботилась о том, чтобы скрыть от взоров чуткого ребенка закулисную сторону своего существования. Девочка привыкла видеть скабрёзные сцены, слышать скабрёзные разговоры, ибо других и не полагалось в гостиной ее матери. Она

² Слабость (*фр.*).

видела, как меняются один за другим «друзья» этой матери, как легка и доступна ее «дружба», как эта дружба основывалась исключительно на цифрах, на денежном интересе, на расчете сорвать с одного друга новый экипаж, с другого – уплату за квартиру, с третьего – уплату по счету модистки, с четвертого – просто сорвать приличный кушик, – все это видела, слышала, чувствовала и понимала маленькая и хорошенькая Милочка, и... в ней органически сложилось, воспиталось и вкоренилось глубокое убеждение, что это-то вот и есть *жизнь*, что жизнь только в этом и заключается, что для женщины нет и не должно быть иной жизни, что всякая иная жизнь есть не жизнь, а предраннее прозябание. Слышала она, что есть еще жизнь великосветских салонов; но о представительницах этих салонов мать ее всегда отзывалась с завистливой насмешкой и презрением, говоря, что и они «тем же миром мазаны и, в сущности, одного с нею поля ягоды», с тою разницей только, что Бог ей не дал счастья быть графиней или княгиней, а сделал ее «театральной», хотя ее Милочка «такая же графиня по рождению, как и законные графини». Милочка где-то и чему-то училась, французский пансион придавал ей известный внешний лоск, а нравственные качества ее закалились в житейской школе ее матушки. Нетронутыми оставались один природный, довольно сильный ум и характер, вероятно перешедшие от отца по крови; но как тот, так и другой, под влиянием атмосферы ее детства, получили прочное и определенное направление.

В настоящее время экс-балерина уже отцвела, но... все-таки имела при себе одного из старых своих поклонников, который во время оно истратил на нее все свое небольшое состояние и все-таки остался верным поклонником. Теперь, когда блестящая молодежь не только отвернулась от нее, но даже и забыла давно про самое ее существование, а бедный поклонник ходил без сапог, старая содержанка нашла, что ей все-таки нужен человек, который делил бы ее скучные досуги, и призрела сего неимущего. Она одевала, поила, кормила его и за то властвовала над ним беспрекословною деспотическою властью. От прежней роскоши у нее сохранился кое-какой капиталишко, правда маленький, но все-таки он мог несколько обеспечить ее существование, начинавшее становиться старческим; экс-балерина пускала в оборот свои деньги: она давала их в рост на проценты, под верное обеспечение.

Когда ее Милочке исполнилось шестнадцать лет, нежная маменька сосредоточила свои надежды и расчеты на единственном детище. Она не прочь была бы выдать ее и замуж, «если бы подвернулся человек подходящий», но эта идея менее улыбалась ей, чем другое предположение, гораздо более сочувственное ее сердцу.

– Что нынче в замужестве-то проку! – не раз говаривала она Милочке. – Еще каков-то черт накачается!.. Это значит только путать себя: лишняя обуза на плечи!

– Но ведь надо же, мамаша, пристроиться, – возражала на

это Милочка, – и притом мне вовсе не интересно быть по паспорту Санкт-Петербургской мещанкой.

– Ах, мой друг, да ведь ты по рождению, по крови графиня! Кто там будет с твоим паспортом справляться, если ты сама очаровательна для мужчины? Твой паспорт – ты сама, твоя наружность. Умей нравиться – и вот тебе весь твой паспорт!

– Но все же лучше называться женой дворянина, чем такто, – не соглашалась Милочка.

– Ну и называйся! Разве я против этого? Да боже меня сохрани, чтобы я когда-нибудь пошла против твоего счастья! Ведь ты дочь моя... Конечно, если подвернется дурак такой с хорошей фамилией, да если еще и богатый, – я слова не скажу, отдам обеими руками: иди, матушка, – но если не так, то, по-моему, не стоит... Что за корысть венчаться? Пока ты невинная девушка и хороша собою, на тебя действительно может обратить внимание человек порядочный, богатый, солидный, который обеспечит тебя на всю жизнь. Вот, к примеру, отец твой, покойник граф (дай Бог царство небесное!), сумел же заметить и вытащить меня, можно сказать, из ничтожества, а почему? Потому что я была добродетельна, потому что я сумела соблюсти и сохранить себя до хорошего случая.

– Да, жди такого случая! – вздохнула Милочка.

– Жди и дождешься! Только умей соблюсти себя! – ободряла маменька. – Уж положишься на меня: я гораздо опытнее

тебя и сама сумею устроить твоё счастье! Я мать горячая, и ты думаешь, разве сердце мое не болит о тебе? погоди, дай время: у меня все же таки есть старые связи, старые отношения. Бог поможет – я сама выше тебе человека, сама все устрою и благословлю тебя; только помни одно: для этого надо строго беречь себя и не увлекаться!

Но увы! Этой чадолюбивой маменьке суждено было несколько обмануться в своих блестящих ожиданиях. На восемнадцатом году жизни Милочке показалось, что она и сама, без посредничества мамы, может устроить своё счастье. Летом на дачу к ним в Новую деревню стал ездить один блестящий гвардеец. У этого гвардейца было имя и хороший рысак, запряженный в щегольскую эгоистку; костюм его – всегда как с иголочки – сидел на нем прекрасно. Матушка навела справки о его состоянии, но слухи оказались противоречивые: одни из них утверждали, будто гвардеец имеет хорошие средства, другие же, с большею основательностью, клонились к тому, что, кроме обширных долгов, у него ничего не имеется. Матушка советовала дочери «держаться остро» и сама не дремала, но Милочка сумела обманывать иногда её бдительность и доставляла себе маленькие развлечения, вроде вечерних прогулок en deux по тощей новодеревенской аллейке и по Елагинскому парку.

За это ей каждый раз сильно доставалось от маменьки, которая даже плакала и говорила, что она «неблагодарная дочь, сокрушает и разрывает на части её материнское сердце».

Дочка искренно уверяла ее, что все это одни пустяки, что ничего серьезного у нее нет, да и быть не может, что она знает, что делает, а между тем незаметно сама увлеклась немножко блестящим гвардейцем. Это крошечное увлечение было единственным увлечением в ее жизни – быть может, невольная дань сердца ее весеннему, семнадцатилетнему возрасту. Она видела, что гвардеец интересуется ею, и, судя по рысаку, костюму, конфетам, букетам, подаркам и по его рассказам, верила в его богатство; Милочка думала, что было бы вовсе не дурно увлечь этого поклонника до такой степени, чтобы в один прекрасный день сделаться его законною супругой. Между тем одна из ее подруг и дачных соседок тоже стала выказывать явное, почти навязчивое расположение к ее герою, и герой, к досаде Милочки, не относился безучастно к такому вниманию. Милочка рассорилась с подругой, но это нисколько не поправило дела. Напротив, подруга ее начала уже прямо и не стесняясь «отбивать» у Милочки ее поклонника. Милочку стали мучить ревность, досада и опасения возможной утраты человека, на котором зиждились ее расчеты и к которому вдобавок не оставалось равнодушным ее собственное сердце. Слишком понадеявшись на себя и думая вследствие того одним решительным шагом поправить свое дело, Милочка опрометчиво переступила тот заветный предел, за который более всего опасалась ее матушка. Но... она ошиблась в расчете... Эта ошибка – дань молодости и маленькому чувству – послужила ей уроком для всей осталь-

ной ее жизни... Сначала казалось, дело идет совсем на лад: гвардеец уверял, что как честный человек он, конечно, поправит женитьбой свое увлечение, как вдруг векселя, угрожающие взысканием, заставили его внезапно и, так сказать, крадучись искать спасения в Ташкенте.

– Что, матушка, на бобах осталась! – с отчаянием и злобой корила Милочку мать. – Гвардейская-то свадьба тью-тю!.. А что? А что? Не говорила я тебе, не предупреждала?.. Так нет, нынче вы думаете, что вы умнее матерей своих стали! Мать дура!.. Что ее слушаться! Что она понимает!.. И что же теперь я с тобой буду делать?

– Вас никто и не просит «делать», – возражала не менее озлобленная дочка. – Найду и сама себе, что мне делать!

– Нет, врешь! Врешь, не найдешь! Теперь капитал-то твой потерял! Безвозвратно потерял!.. Теперь тебе и цена другая!.. И за что же это я тебя, змееныша эдакого, поила, кормила, воспитала, сердцем своим болела о тебе? За что все это, неблагодарная тварь?! Посчитать бы, чего мне стоят одни твои тряпки да наряды! И это ли теперь отплата за все мои материнские чувства, за все мои терзания и заботы?!

И обе они злобно и горько плакали о безвозвратно утраченном капитале.

Но прошло некоторое время – и первый пыл обоюдной их злобы и скорби поунылся. Обе пришли к сознанию и необходимости какими-нибудь судьбами поправить свое проигранное дело. Милочка находила, что ей было бы лучше всего

выйти теперь замуж, «пристроиться», но пристроиться так, чтобы, во-первых, променять свое паспортное мещанство, которое для нее было презренно и невыносимо, на какое-нибудь дворянское имя; во-вторых, пристроиться так, чтобы, воспользовавшись преимуществами законной жены и своего имени, сохранить за собою, про всякий случай, полную свободу действовать и распоряжаться своею особой по собственному произволу.

Мать находила оба эти стремления вполне основательными.

– Конечно, – говорила она с грустным вздохом, соглашаясь с доводами дочери, – конечно, если раз уже позволила себе опростоволоситься, то впредь не следует быть душой. Теперь тебе, разумеется, надо выйти замуж... Будешь ли там жить ты с мужем или не будешь, за это в нынешнем веке трудно поручиться, вернее, что не будешь; теперь вон, куда ни обернись, все врозь да врозь живут замужние! Но замуж все-таки следует выйти: нынешние дураки охотнее, вишь, кидаются на замужнюю женщину! Это, конечно, с их стороны одна только глупость, но оно так в нынешнем свете, и ты это, мой друг, верно, понимаешь! Раз, что ты добродетельная девушка – тебе одна цена, потеряла ты добродетель – и никакой цены тебе нет; но вышла ты после этого замуж, поглядишь – и опять тебе цена подыметя. Только уж в этом случае, из-за собственного интереса, конечно, надо выходить с умом, не за сапожника какого-нибудь, а за человека хотя и

бедного, но благородного, чтобы тебе, по крайней мере, хоть имя-то дворянское осталось: это, друг мой, тоже подымает положение женщины, кредит совсем другой и другой взгляд на дворянку!

На следующее лето они жили на даче уже не в Новой деревне, а в Полуострове. Здесь, по соседству с ними, нанимал себе конурку студент-технолог Валерьян Коробов, богатый своим двадцатилетним возрастом, а еще более – своими надеждами и мечтами, в сущности же его существование обеспечивалось теми пятьюдесятью рублями, которые ежемесячно присылала ему из Рязанской губернии какая-то старая и добрая родная его тетка. Матушка Милочки случайно познакомилась с ним и как-то узнала, что он дворянин – «настоящего, друг мой, столбового происхождения!».

– И скажите, пожалуйста, отчего же вы, при вашем происхождении, не выбрали себе какое-нибудь другое занятие? – участливо спросила его однажды матушка.

Тот пожал плечами на такой глупый вопрос.

– Да потому, я думаю, что в выборе занятий происхождение не играет никакой роли, – ответил он.

– Но ведь вы могли бы выбрать для себя какую-нибудь дворянскую службу – чиновником бы или в офицеры пойти?

– Сердце больше лежит к технологии, – улыбнулся он, – да и притом же это дело в наше время хлеба больше дает.

– А разве эта служба выгодная? – с живым интересом спросила матушка.

– И очень даже! – подтвердил Коробов.

– А как то есть выгодная? Поди-ка, с голоду, пожалуй, не умрешь – только в ней и корысти?

– Что с голоду не умрешь – это во-первых; а во-вторых, есть множество примеров, что технологи – на наших глазах вот – делают себе громадные состояния.

– Неужели?! – изумилась матушка, уже в высшей степени заинтересовавшись последним сообщением.

Коробов рассказал ей несколько примеров.

– И вы, значит, тоже надеетесь сделать себе состояние?

– Я учусь ради дела, – скромно ответил студент, – а состояние – дело случая. Впрочем, у меня есть много надежд на будущее.

Маменька приняла близко к сердцу все сведения, полученные из разговора с Коробовым.

– Вот, матушка, жених тебе! – сказала она в тот же день Милочке. – И молод, и дворянин, и даже может в будущем состоянии себе сделать!

– Чересчур мизерен, – поморщилась дочка.

– Скажите пожалуйста, герцогиня какая! – вспыхнула экс-балерина. – Принца Оранского для вас не прикажете ли? Испанского посланника, что ли, еще?.. И, во всяком случае, если желаешь сделать шаг, то этот барин, по моему мнению, отличная для тебя ступенька.

Милочка поразмыслила хладнокровно и согласилась с матерью.

С этой минуты она повела своеобразную игру с Валерьяном Коробовым. На одной ставке была красота и хладнокровно расчисленный, обдуманый, шулерский расчет, на другой – молодость и беззаветное увлечение.

Не прошло и двух недель, как Коробов был уже влюблен со всем пылом первого молодого чувства. Он сделал предложение.

– Переговорите с мамашей, – скромно ответила ему Милочка.

Коробов исполнил ее желание.

Мамаша при этом даже прослезилась от избытка чувств нежной души своей.

– Валерьян Алексеевич, я мать... я мать, вы понимаете меня! – сказала она, крепко сжимая его руку. – Я не могу противиться ее сердцу, но... простите за откровенность: вы еще оба так молоды... это такой важный шаг... чтобы не раскаяться вам впоследствии!.. Тогда на меня же попеняете!.. И наконец, чем же вы жить будете? Какие ваши средства к жизни? У Милочки у моей ведь ровно ничего нет, кроме ее невинности и чистого сердца!

Коробов пустился в длинный и горячий монолог, в котором, развивая свои планы и надежды, говорил, что Милочка его любит и понимает, что она не потребует с него лишнего, что она готова сама трудиться и помогать ему, что у него и теперь уже, кроме теткинских пятидесяти рублей, есть несколько хороших «уроков», а женившись, он достанет их еще бо-

лее да, кроме того, станет работать хотя бы «переводы» для какой-нибудь «честной» редакции, что он уже несколько раз брал на себя «черную» литературную работу для редакции Цемша и ею всегда оставались довольны, что рублей сто, полтора ста в месяц он всегда свободно заработает, а этой суммы достаточно для неприхотливой жизни, и что, наконец, оба они молоды, полны жизни, энергии, любят друг друга и светло глядят в свое будущее.

Монолог был очень горяч, а экс-балерина показала вид, будто он даже и вполне убедителен.

– Ну конечно, это уж ваше дело, – сказала она, – я только как мать высказала свои опасения, чтобы потом мне же не было укоров да попреков, а там как знаете... Только помните одно, Валерьян Алексеевич, помните, что я отдаю вам с рук на руки мое чистое и непорочное сокровище... Берегите же его!.. Она у меня такая девушка, что может составить счастье любого человека – надо только хорошо понять и оценить ее!.. Теперь ваше счастье в ваших руках: не убережете его – сами будете виноваты! Это теперь вполне от вас самих зависит.

Коробов вовсе не обратил внимания на это предостережение, напоминавшее воронье карканье, и, вполне счастливый и довольный, торопил день свадьбы.

Вожделенный день наконец настал – и Коробов сделался мужем.

Молодая супруга его сразу же захотела «общества и развлечений». Но какое же, в самом деле, «общество» мог

предоставить ей Валерьян Коробов? – Несколько студентов, которых еще некогда Аскоченский назвал «кашлатыми», да два либеральных сотрудника с заднего двора Цемшевой газеты – вот и все его общество. Людмиле Сергеевне это «общество» пришлось не по вкусу: она нашла, что все эти господа говорят совсем скучные, неинтересные для нее вещи и что все они «ужасно дурно и безвкусно одеты», а она не переносила дурно одетого человека.

– Валерьян Алексеевич, мне Милочка жалуется, что она скучает, – с значительным видом сказала ему однажды матушка. – Вы бы ей хоть какие-нибудь развлечения доставляли – так же ведь невозможно! Она женщина еще молодая.

Коробов пожал плечами.

– Какие же развлечения, Ольга Романовна, – возразил он. – Я, кажется, и то уж стараюсь! Захотелось ей пианино – я взял напрокат; сказала, что на окнах пусто, – я цветов накупил; раз в неделю в театре бываем; товарищи приходят...

– Ну да вот, товарищи! – подхватила матушка. – Они все такие грубые, неотесанные, неумытые, скучные – разве это общество для Милочки?

– Грубые, зато честные, – отрезал Коробов.

– Этого у них ведь ни в каком патенте не прописано, что они честные; да, впрочем, в нынешнем свете, друг мой, что и честь, коли нечего есть!

– Вы, Ольга Романовна, говорите безнравственные вещи, и я бы вовсе не желал, чтобы это говорилось при жене моей.

– Покорнейше благодарю за замечание, в котором я, впрочем, не нуждаюсь, – сухо ответила матушка. – Милочка дочь моя, мое рождение, и потому сама я знаю, что мне следует и чего не следует говорить при ней. Я вовсе не хочу ссориться с вами, Валерьян Алексеевич, но как истинно любящая мать по-дружески говорю вам, что моя дочь скучает и что вам поэтому не мешало бы обратить несколько более внимания на ее развлечения. Ведь она так любит, так любит вас, как словно ангел какой небесный, и неужели же вы за всю любовь ее не захотите побаловать ее хоть немножко!

– Боже мой, да я рад! Я рад, я всю жизнь свою готов для нее! – воскликнул Коробов. – Но чем же? Чем могу я? Я готов все сделать, все исполнить, только скажите мне, что именно?

– Мало ли «что»! Помилуйте! У нас есть столько клубов, столько «семейных вечеров», артисты поют и читают, публика веселится, ужинает... наконец, маскарады... Я не говорю о катаньях на тройке – это, положим, пока еще дорого для вас, это со временем... Вы видите, что я, мать, вовсе не хочу, чтобы вы разорялись; я, голубчик мой, ведь вхожу тоже и в ваше положение; но, например, маскарады – это ведь не дорогого стоит, а между тем какое развлечение.

Коробов гонял как почтовая лошадь с одного урока на другой, с другого на третий, сидел за какими-то переводами для Цемшевой газеты и для книгопродавца Пархатова, корпел над какими-то корректурами, и все это для того, чтобы

принести на пятый этаж, в маленькую двухкомнатную квартиру, к своей Милочке несколько лишних денег. А чуть только перепадали ей в руки эти деньги, она тотчас же летела в Гостиный двор и тратила их на разные тряпки; из тряпок мастерилась какая-нибудь принадлежность к наряду, а вечером наряд этот изящно облекал стройную фигуру Милочки – и Милочка в наемной карете ехала, в сопровождении своей матушки, в какой-нибудь клуб или собрание, где «артисты поют и читают» или где шныряют вовсе не интересные, но зато прожорливые маски.

Коробов не имел ни времени, ни охоты постоянно сопровождать супругу на все эти «развлечения». В те долгие часы, когда она плясала на каком-нибудь клубном «семейном вечере», он до одурения гнул спину над тяжелой «черной» и малоблагодарной работой. Неизменной и доброхотной спутницей Милочки во всех этих случаях являлась ее матушка.

– Милочка, я вот по газетам прочла, что послезавтра вечер в «Артистическом» – надо быть непременно, – говорила Ольга Романовна.

– Не знаю, мамаша... если деньги будут.

– Вот это мне нравится – «если будут»! – фыркала носом вверх матушка. – Должны быть!.. Скажи мужу, чтобы достал, – на то он и муж, слава тебе Господи! Он обязан работать! На кого же ему и потрудиться, если не на жену... Пусть по гостям меньше ходит и к себе не принимает, а боль-

ше сидит да работает! Ты бы, матушка, заставляла его.

– Я уж и то долблю ему, мамаша.

– Мало долбишь, друг мой, мало! У меня уж и то сердце порою ноет, глядя на твои лишения. Он все-таки лентяй у тебя препорядочный. Должен бы больше, гораздо больше зарабатывать! Да ты поверяешь ли его каждый раз, сколько он денег-то приносит?

– А то как же, мамаша! Каждый раз я сама от него все до копейки отбираю, а потом выдаю на табак и на все, что следует; да он, впрочем, и сам добровольно отдает мне все сполна – на это я пока не могу пожаловаться; он трудится изрядно, так что мне подчас и жаль немножко становится, что он все сидит да работает, а я без него все одна да одна езжу...

– Как – одна! – фыркнула Ольга Романовна. – Ты, кажется, не одна, и не с кем-нибудь, а с родною матерью показываешься в свете. Каждый очень хорошо знает и понимает, что это вполне прилично, потому что мать родная свою дочь ни на что дурное никогда не наставит! А чем пустяки-то толковать, так ты лучше пентюху своему прикажи, чтобы к завтрашнему дню деньги непременно были! А если не достанет, так вот тебе мой прекрасный совет – уж это я тебе по опыту говорю – не подпускай его к себе ни на шаг, ни одной ласки, ни одного милого взгляда, ни одного слова; потом да помучь его хорошенько – благо, тебе это по хладнокровной натуре твоей ровно ничего не стоит; не бойся, как эдакую-то

тактику с ним примешь – тотчас же достанет! Ихнего брата прежде всего никогда баловать не следует!

И Милочка мужа своего действительно никогда не баловала, но деньги тем не менее всегда являлись к ее услугам. Коробов самому себе отказывал во всем необходимом, ходил в заплатах сапогах, в заштопанном платье, имея всего только две перемены белья, – зато жена его всегда была одета как куколка. Сила любви делала для него легким самый тяжелый труд, и ни одна жертва не казалась ему жертвою.

Когда же у него окончательно уже истощались деньги и не у кого было перехватить на время хоть несколько жалких рублишек, а Милочке с матушкой между тем непреклонно хотелось ехать в маскарад или в собрание, то в этих случаях выручательницей из затруднительного положения всегда являлась сама же добрая и обязательная матушка. Она охотно ссужала Милочке несколько денег, но при этом непременно прибавляла:

– Вот, дружок мой, когда у тебя нет, я всегда охотно даже последним делюсь с тобою; а ты, когда ты будешь богата, – неужели ты тогда мать свою позабудешь?! Такую горячую мать! Ну уж тогда тебе и по совести стыдно, и от Бога грех будет!

Милочка морщилась, но совестливым видом заявляла, что этого никогда не случится.

Однажды в очень скромной квартирке Коробова появил-

ся новый гость, который был знакомым уже собственно Людмилы Сергеевны.

Каким-то недобрым и тревожным предчувствием екнуло сердце Валерьяна Коробова, когда Милочка, рекомендуя, назвала ему имя и фамилию своего гостя.

Это был Платон Васильевич Вельтищев.

Коробов издали знал Вельтищева. Он несколько раз встречал его в редакции у Цемша. Вельтищев иногда приезжал к Цемшу в смысле очень важного, влиятельного по службе и по бирже человека, в смысле «деятеля», который может иногда сообщить очень важные и самые свежие новости из мира административного и финансового. Вельтищев был «на виду» и очень успевал по службе, как современный «либеральный чиновник» хорошего тона, имеющий связи с редакцией «умеренно-либеральной газеты» и притом «отлично владеющий пером». Его «перо» и «связи с литературным органом» давали ему по службе вес и значение в глазах начальства, а его чиновность умножала его значение в глазах Цемша и его ближайших сотрудников. Затем как начальство, так и Цемш очень уважали Вельтищева – во-первых, за его деньги, которыми иногда первое пользовалось в виде займов, а второй в виде субсидий за поддержку какого-либо финансового предприятия, близко интересовавшего собою Платона Васильевича; во-вторых, и начальство и Цемш уважали его за его «уменье жить», за его обеды и ужины, которыми они пользовались часто и безвозмездно. Этот со-

временно-либеральный чиновник, с его «пером», с его «умением жить», с его изящными манерами, успевал и в свете, и по службе, и в Цемшевой литературе. Иногда он удостоивал газету Цемша своими заметками и даже передовыми статьями по вопросам административным, юридическим, социальным, земским и финансовым; некоторые из его статей были ему даже «внушаемы свыше» – и Цемш особенно гордился редкими, но меткими и всегда прекрасно и либерально изложенными статьями Платона Васильевича.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.